

1917 ГОД: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ИСТОРИИ

С.С. Неретина
Институт философии РАН

Аннотация: *Начало XX в. означало для России вступление в Современность, в то общеевропейское Новое время, которое с XVII в. знаменовало появление перманентного общественного изменения, с тех пор характеризующее всю эту эпоху до наших дней — времени войн и революций. Возникшее в недрах теологии понятие «революция» обозначило глобальный поворот к модернизации, которой определяется Современность даже в те ее моменты, когда происходит откат к традиции. Потому нынешний разрыв с целями революции 1917 г. не соответствует фикциям возвращения к старым ценностям. Происходит конструирование традиций и подстановка их в прошлое — вещь поистине новая: ибо никакое другое время не осмеливалось менять прошлое во имя государственных интересов.*

Ключевые слова: *революция, кадетская партия, модернизация, традиция, парадигма, интеллигенция, отрицание, экономика, политика, растление, шовинизм, свобода.*

Расправа с историками началась сразу после Октябрьской революции, поскольку, как при всякой революции, произошла смена исторических ориентиров. К тому же многие историки были членами партии конституционных демократов (кадетов), или партии Народной свободы, в которую входила элита русской интеллигенции, которая создавала вместе с социал-демократами сильную оппозицию господствующему режиму и претендовала на роль лидера в будущем социальном переустройстве. Можно сказать: историческая наука после победы пролетарской революции была обречена, ибо политическое поражение кадетов, многие из которых были министрами Временного правительства, автоматически вело к поражению выработанных ими исторических концепций.

Однако при анализе Октябрьской революции надо обратить внимание на обстоятельство, не учтённое интеллектуалами того времени: одной из характеристик общественного развития России является *отрицательное отношение к власти со стороны любого сословия*, что было следствием ее самодержавного статуса, отсутствия представительного правления, личной зависимости всех и каждого от государя, отсутствие собственности и права на собственность. Жёсткая властная вертикаль, выраженная тиранически, породила и к себе яростное отношение (злобу, ненависть и презрение) социальных низов, для которых любой вышестоящий по положению, богатству и правоспособности был столь же социально ненавистен, независимо от личного к нему отношения. Формула «барин хороший, но усадьбу со-

жжём» была обычной, подразумевавшей, что народ видел рядом с собой и над собой не «русского европейца», а барина, представлявшего другой культурный тип, *оскорблявший народ*. Наши современники на это редко обращают внимание, хотя этому посвящён рассказ Л.Н. Толстого «После бала». Об этом помнил и А.А. Блок, когда писал в статье об отношении интеллигенции и революции — незадолго до разграбления его собственной усадьбы и сожжения библиотеки, — что «вы оскорбляли ... самую душу народную» [Блок 1918]¹. *Чистое отрицание всего старого мира* — задача революции, и она закреплялась делами. В начале нового столетия О.Э. Мандельштам, имея в виду культурные метаморфозы, объявил «Мир сначала!». «Мы наш, мы новый мир построим» — это максима социального, уже послеоктябрьского переустройства. Она напрочь изгоняла старую культуру из сознания, а это значит: *лишала интеллектуалов статуса (пусть только возможного) быть «при власти» (при которой многие из них оказались после Февраля), и считать свое слово авторитетным. Это была в полной мере классовая революция, цель которой заключалась не в упрочении своего класса, а в уничтожении классов как таковых*, что и случилось менее чем за 20 лет.

Начало XX в. означало для России вступление в *Современность*, в то общеевропейское Новое время, которое с XVII в. означало появление перманентного общественного изменения, с тех пор характеризующее всю эту эпоху до наших дней. Х. Арендт в работе «О революции» напомнила «известное ленинское предсказание», что XX век — это век войн и революций [Арендт 2011: 5]. *Возникшее в недрах теологии понятие «революция» обозначило глобальный поворот к модернизации* (термин «научная революция» не случаен). Собственно, модернизация и есть Современность даже в те ее моменты, когда, казалось бы, происходит откат к традиции, правда, уже неизвестно к какой, ибо за время модернизации она успевает измениться. По словам В.А. Куренного, устойчивость буржуазной системы объясняется именно тем, что она «смогла сделать революцию структурным моментом своего существования» [Куренной 2008: 225], осуществляющим вместе с тем свободу и равноправие народа. Понимание этого рождает своего рода парадоксы российского существования *после 1917 г.*: не желая новой революции, власть предержащие до 1985 г. именем революции клялись, а после 1985-го, всячески отворачиваются от этого понятия, настойчиво закрепляя за ним драконовы характеристики, прокламируя эволюционный ход развития истории. Но свержение советского строя назвали-таки революцией, подчёркивая ее «мирный» характер.

Оттепельное желание, исходящее из разных слоёв населения, но прежде всего — интеллигенции, вернуть принципы «правильного социализма» означало не продолжение революционно-насильственного процесса преобразования, а реформирование сложившегося аппарата власти. То, что при этом не произошло *очищающего катарсиса* после пережитых репрессий, не произошло осмысления самого события ГУЛАГА, можно (с большой осторожностью) объяснить тем, что Россия много веков — задолго до самодержавия — жила в состоянии экзистенциального страха и ужаса при полном отсутствии гуманитарного и граждански-правового воспитания, что вся система управления уже в советской России добавила к этому состоянию повседневную *кромешную ложь и псевдоименность* (не только приговор «десять лет без права переписки» на деле прикрывал «расстрел», но и собственноручная подпись под признанием в шпионаже или контрреволюционном заговоре может сбить с толку человека, избежавшего репрессий²). Непонятость силы и ужаса, переворачивающееся в преклонение перед этой силой и ужасом, принадлежит древнейшему архетипу сознания — изумлению перед непреклонностью неведомой природы. Это надо отличать от ненависти к власти как понятному и рукотворному принципу. В России

¹ Курсив мой — С.Н.

² О неграмотном, диком и тёмном лике народа см. «Записки из Мёртвого дома» Ф.М. Достоевского. Там же — метафорические замещения, например, именование каторжниками ката (палача) «отцом родным». Достоевский к тому же пишет, что простые каторжные ненавидели каторжных дворян.

к тому же власть была не «своя», она была вручена варягам, которых на власть призвали, что лишало ее сакрального характера. Призванной (избранной) была и религия. Призвание к тому же исходило от светской власти. Не случайно при Петре ¹ религия была заперта в министерские стены. И дело не в том, как было «на самом деле», а в том, что так сложился миф о призвании, который не уходил из народного сознания. Возможно, это и есть то неуловимое, что обеспечило победу *пролетарско-крестьянской* революции.

Понятие революции

Латинский термин *revolutio* означает «переворот», хотя не всегда «социальный». *Revolutio* — это и деяние Ангела Господня, *отвалившего* по воскресении Иисуса «камень от двери гроба» (Матф. 28 2). Но это и «вращение небесных сфер» (название трактата Н. Коперника). Так ее понимал ещё граф В.П. Кочубей, который в 1822 г. писал, что его «какою-то революциею глобуса перекинуло из области образованной в какую-то варварскую страну» [Шильдер 1904–1905: 244]. Он писал это в то время, когда этим термином означали совершившееся во Франции и когда слушатели Шеллинга и Гегеля, молодые русские дворяне-романтики создавали миф о духовной избранности русского народа, утраченной высшими сословиями, хотя XVIII век оставил нам в наследство две величайших социальных болезни: рабство большей части народа и «их религиозную одичалость, грозившую полным перерождением Православия в магический обиход шаманского типа в поработанном простонародье и в холодное обрядовое рабовладельцев» [Зубов 2006]. Но революция со времён Н. Макиавелли, который, правда, избегал этого слова, понималась и как природная стихия. Блок прямо сравнивал ее с «грозовым вихрем», «снежным бураном», который «всегда несёт новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного... но ... это не меняет... общего направления потока» [Блок 1918]. Слово *revolutio* означало и *возврат*, поэтому, скажем, Английскую революцию XVII в. называли бунтом, а восстановление законной власти — революцией. Можно согласиться и с Арендт, что современное понятие революции имеет американские корни и связано не столько со сменой власти, сколько с идеей «„привлекательного равенства“, которым, по словам Джефферсона, „бедные наслаждаются вместе с богатыми“», притом что встал вопрос и о том, чтобы поменять всю общественную ментальность, «ткань» общества, а не только структуру политической сферы [Арендт 2011: 25–26].

Тенденции исторического сознания: перенос

Когда сейчас мы начинаем спорить о том, как конкретная реальность замещается выражением этой реальности, т. е. метафорой, мы должны помнить, что суть метафоры не в замещении реальности: это не менее строгое выражение самой реальности другими знаками (перенос), слипающимися с нею. Иначе — вранье. Нынешняя историческая наука больна идеологизирующей модернизацией истории. Когда я знакоилась с разнородными «предреволюционными» материалами — от серьёзных исторических исследований до газетных публикаций, — меня удивило и озадачило, что дореволюционная социально-политическая проблематика подчас дословно совпадала с той, что волновала еще недавно, до начала 2000-х годов, наше поколение. От прежней исторической ситуации была унаследована известная сумма нерешенных проблем: либерализация страны, установление парламентаризма; упорядочивание сельского землепользования и введение частной собственности на землю; преимущественное развитие промышленности и пр. Ставились также вопросы об отмене смертной казни, цензуры, о регистрации обществ и собраний, о подчинении бюрократии общественному контролю, о воспрещении в России казённой продажи водки и т. д. В 1900 г. рассматривался даже

проект об отмене ссылки на поселение в Сибирь в качестве меры предохранения ценной русской окраины от ее «засорения» нежелательными элементами. Добавим сюда и национальный вопрос, который в силу великодержавной политики царского правительства стоял весьма остро³. И хотя почти все эти проблемы актуальны и сейчас, несмотря на кажущееся их решение⁴, в России с начала XXI в. они отвергнуты в связи с изменением идеологии, круто развернувшейся в сторону православия, авторитаризма и народного патриотизма, господствовавших во второй половине XIX в. под чуть изменёнными именами.

К 100-летию революции 1917 г. ее проблемы рассматриваются как антипроблемы, как те проблемы, от которых следовало бы отказаться, прежде всего, от их советского, социалистического характера, от коммунистической идеологии. Разрушение СССР сопровождалось именно крушением этих проблем. Все классы были разрушены (население стало называться по конституции 1976 г. «советским народом»), партократия преобразилась в олигархию, а заново остро вставший национальный вопрос приобрел кривую форму национальной обиды. Выход многих бывших советских республик из состава СССР, спровоцировавший его распад, возродил старое шовинистическое чувство оскорбленного «старшего брата», и если вначале отсутствие выработанных условий выхода сопровождалось растерянностью и неуклюжим вмешательством армии, то нежелание уже самостоятельной Украины находиться в сфере влияния России спровоцировало в ней гражданскую войну. Все прежние революции (во Франции или в США) «дорабатывали» прежние задачи, не отрекаясь от широкого преобразовательного замысла, то в России конец советской власти через практически бескровную революцию 1991 г. обернулся разрывом с замыслом революции 1917 г. решавшей задачи создания *нового* человека, провозглашением лозунга возврата к *старым* (семейным) ценностям, к православно-идеологии, к консервации традиций вопреки свободе.

Однако разрыв с целями революции 1917 г. *не соответствует даже фикциям возвращения к старым ценностям, в том числе тем предреволюционным*. Ибо православие — лишь ширма, скрывающая отсутствие чётко поставленных целей, народности нет, есть аморфная масса населения, да и державной власти нет как специфического инструмента управления, есть лишь выраженное желание власти с использованием механизмов подавления воли других людей с помощью создания симулякров стабильности, хотя попытки реформирования каких-либо сфер деятельности заканчиваются неудачами. Происходит *конструирование* традиций и *подстановка* их в прошлое — вещь поистине новая: *никакое другое время не осмеливалось менять прошлое во имя государственных интересов*. В условиях постоянно организуемых войн провозглашается не мир как следствие революции⁵, а мир как возможность неизменности и несменяемости власти. Нет ни эволюционного вращивания коммунистического общества в посткоммунистическое, ни даже изменения его фасада. При этом, однако, начало XXI в. является действительно революционным: оно демонстрирует неведомую до сих пор (см. начало статьи) *любовь народа к власти*, и это одно означает, что, как ни убеждай власть в *наличии скреп с прошлым*, их нет. Любовь народа и власти, абсолютная (86 %) поддержка народом власти (как ни убеждай себя оппозиция, что и 14 % много) означает не только то, что ссылки на прежнюю историю неубедительны, но и то, что действительно образуется новое качество жизни, основой которой является *ничто*, уничтожившее общество

³ Особенный протест вызвал манифест от 3 (15) февраля 1899 г. о распространении в Финляндии, имевшей свою конституцию, русского воинского устава, на основании которого финские граждане могли быть отправлены к отбыванию воинской повинности в другие регионы империи, чего не было прежде. За финским сеймом был признан лишь совещательный голос, в чем финский народ увидел «пренебрежение его конституционными правами». [Ольденбург, 1981:39–140].

⁴ Вроде проблемы парламентаризма или предоставления территориальных автономий.

⁵ О том же писал и Блок: «Мир и братство народов» — вот знак, под которым проходит русская революция.

как таковое. Это стояние в точке нуля обеспечивает автономию, которой действительно не страшны никакие санкции и никакие искажения истории, поскольку она каждый раз придумывается.

Именно потому попытки ликвидировать абсолютные разрывы со своим прошлым или наладить связь с прошлым носят пароксизмальный, скорее желаемый или назывной характер. При осуждении, например, акта отправки российских мыслителей за границу в 1922 г. одновременно осуждается либерализм, представителями которого были эти мыслители.

Камуфляж, который становится основой функционирования государства, поддерживается фразеологией дореволюционного периода, в ряде случаев совпадающей с нынешней. Один либеральный журнал в 10-е годы XX в., отмечая рост косвенных налогов и сборов с увеселений, иронизировал: «Как видите, нам живётся веселее» [Арендт 2011: 133]. Фраза эта, почти дословно повторённая в 30-е гг. XX в. по совершенно иному поводу, тем и знаменательна, что служит пустым смысловым знаком связи со старой Россией. Мы усвоили *зловещий* смысл этой фразы, не зная источника, но самим усвоением этого образца, во-первых, утратили с ним связь, а во-вторых — придали зловещий смысл прежнему ироническому высказыванию. *Такого рода вербальные знаки — один из способов внедрения в сознание того, что сохраняется в нем неосознанно и подменяет смысл.*

Или такой факт. В 1909 г. в Государственный совет от 9 губерний было избрано 9 поляков — без учёта того, что в некоторых из этих губерний было всего лишь 2–3 % польского населения. Д.И. Пихно, редактор монархической газеты «Киевлянин», внёс в Государственный совет проект о реформе выборов в верхнюю палату от Западного края, настаивая на уменьшении представительства в ней национального меньшинства. Этот проект, как отмечал обер-прокурор Синода кн. А.Д. Оболенский, нарушал «основное начало нашей государственности», которое, по его словам, заключалось в том, что все народы равны перед царём, ибо он выше национальностей, групп и сословий. К удивлению большинства Совета, сочувственно отозвался о проекте Пихно председатель Совета министров П.А. Столыпин, с именем которого многие связывают идею обновления России. Произошло бы обновление или нет, неизвестно, но именно Столыпин определил с мая 1909 г. новый принцип русского национализма, крайним выражением которого стал великодержавный шовинизм.

Ещё более очевиден камуфляж при соотнесении цивилизации и культуры, необходимость которой ярко заявлена Бердяевым в книге «Смысл истории». Бердяев понимал культуру как новую онтологию, как «прорыв духа», новое качество жизни, способствующее возвращению к «началам», как к некоему «месту», где бродит творческое «сомнение в своих основах», разлагающее сами эти основы [Там же: 253, 255–256]⁶. И в этом смысле идея культуры противопоставлялась идее цивилизации как механически и технологически налаженной жизни.

Бердяев протестовал против механизма цивилизации, ибо под метафорой машины выступала в российской ситуации сама государственная власть как механизм подавления, которому нестерпим прорыв духа как нарушающий автоматизм действий. Но революция требовала прорыва духа, который нечеловеческая сила машины необходимо должна была перемалывать. Этот парадокс во многом объясняет революционную непредсказуемость, чем и объясняется необычайный взрыв культуры и в первые послереволюционные годы, и, главным образом, во второй половине XX в. (Московская и Тартуская структуралистские школы, появление и авторитетность идеи философии культуры М.М. Бахтина и В.С. Библера). Но объясняется и такой же силы эффект выброса культуры из состояния жизни.

Заметить это необходимо потому, что характерной чертой русской исторической науки была ее эклектичность, сущностная разорванность, когда исследовалась история государ-

⁶ О концепциях А.А. Мейера и М.М. Бахтина мы сейчас не говорим: они появились чуть позже.

ственности, права, национального самосознания, народа, экономики, интеллигенции и пр., но все эти истории существовали в *отрыве друг от друга*, в разорванности, в их хронологическом несовпадении. В.О. Ключевский (1841–1911) был одним из первых русских историков, если не первый, кто обнаружил этот разрыв, и он начал собирать воедино в своих курсах самый разнородный материал, потому что обладал мощной интуицией целостности истории. Он умел в фокусе одной исторической дисциплины обнаружить смыслы других дисциплин [Ключевский 1968: 241]. Практически все историки начала века прошли школу Ключевского, даже М.Н. Покровский (1858–1932), будущий марксист, которого в данном контексте лучше называть антикадетом. Однако они не обладали гением учителя. И отдельно существующие, хронологически разорванные истории обеспечили возможность жертвоприношения одной из них во имя любой другой.

Методологический плюрализм оказался не нужен сразу после Октября. Возобладал государственный концепт в исторических сочинениях, который восходит к Н.М. Карамзину (1766–1826), коренясь в особенностях самой Российской империи, собранной из разнородных территориальных образований и обрушившей мощную внешнюю экспансию в не-Россию, удерживать которую можно было только крепкой властью. Потому первые «истории» — не истории как таковые. Это истории государства Российского, истории власти, истории патриотизма, который насаждался в таком виде, что Л.Н. Толстой рассматривал его как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей правителей, а для управляемых это было отречение от человеческого достоинства, разума и совести. Все это предполагает не развитие, а стагнацию.

Смена исторических парадигм

Напряжённость политической атмосферы и сосуществование разных историй при отсутствии единой привели к ослаблению достоинства истории как особого единого знания, подготовили ее идейное грехопадение. Действительно, если история не едина, если она — всего лишь разные направления, да ещё развиваемые разными темпами, то одним направлением можно пожертвовать ради другого, например политической историей во имя экономической. Это вело к тому, что медленно развивавшиеся, не связанные друг с другом профессиональные «истории» с 1917 г. по 1937 г. приобрели характер столкновения между собой, которому к тому же была придана политическая выразительность. Ибо казалось, что после победы революции первенствующее место должна была бы занимать экономическая история, которая была призвана «вышибить раз и навсегда сладенькую легенду субъективной идеологии... чтобы проложить дорогу хотя бы элементарно научному познанию истории» [Историк-марксист 1926: 8]. В огромной мере так оно и было. Но за показной королевской значимостью экономической истории стояла тень серого кардинала политики. Впрочем, и это не совсем точно, если вспомнить общеполитическую настроенность на мировую революцию: мы начали, Германия завершит. В истории того времени как бы соединились две карты — экономическая и политическая. Подразумевалось: мы неразвиты экономически, но сильны политически; Германия же сильна экономически, следовательно, после мировой революции она и будет развивать экономическую историю. «Наша» политика развивалась в расчёте на «ту» экономику. Однако для решения этой задачи нужны были и статистика, и демография, для чего пригодилась старая школа и темы, требовавшие развития и при новой власти. Но прежде всего все-таки акцент ставился на политику, что соответствовало, как пишут редакторы образованного в 1926 г. журнала «Историк-марксист», «ленинскому пути». А это уже требовало конкретных мер. Необходимо было сменить угол зрения на проблему человека и определить идеал нового человека. Таковым идеалом стал пролетарий, а в сосредоточенном виде — «рабоче-крестьянская молодёжь» [Под знаменем марксизма 1922: 8], что способство-

вало уменьшению объёма понятия «человек»: первые действия революции связаны с ликвидацией враждебных классов, а первые идеологические решения — с ликвидацией прежней «надстройки», куда по определению входила интеллигенция. Общественный досмотр был такой силы, что даже студенчество, исконный рассадник передовых идей, рассматривалось как контрреволюционная сила. Это была смерть того понимания человека, под которым когда-то подразумевался богочеловек.

Марксистский «*homo laborans*», человек работающий, должен образовать идеальный общественный порядок, сочетаемый с трудовой жизнью. Трудовая жизнь отождествлялась с органическим жизненным процессом [Арендт 2000: 103–140]. Как считает Арендт, в этом пункте обнаружился парадокс между тем, что можно назвать постоянным производительным рабством и непроизводительной свободой. Счастье труда предполагало, что «усилие и награда следуют друг за другом в таком же размеренном ритме как работа и еда, подготовка жизненных средств и их поглощение» [Там же: 138]. Число людей свободных профессий при так понятой трудовой деятельности сокращается. В таком обществе быть свободным означает быть тем, что не служит прямым нуждам жизни. Это позволило власти поставить — ныне злободневный — вопрос, насколько необходима, например, обществу философия или история, если она не приносит прямой пользы и не служит жизнеобеспечению [Там же: 162]. Эти гуманитарные дисциплины должны перестать быть свободными и служить обществу. Это значит, что «от всех ... *artes liberales* — осталась одна только игра» [Там же]. А современный уровень технологии может превратить то, что ещё вчера было утопией, в реальность, когда вовлечённому в биологический круговорот человеку «останется только „усилие“ открыть рот, чтобы проглотить еду» [Там же: 168]. Свободомыслящий человек здесь просто не нужен. Фактически при совершении революции, поставившей целью создание такого — нового — человека, началось *растление* этого человека. Таким образом, изначально столкнулись кадетско-профессорская выучка, умение, понимание свободы как деятельности, не зависящей от жизненной нужды, как личностной неприкосновенности — и отношение к истории как к истории классов, истории труда, связанного с принуждением и необходимостью, где свобода понимается как необходимость.

Марксистская идеология задала роковой тон всему процессу новой истории. Вместо плюрализма идей и историй проектировалась однонаправленная история, уже не просто экономическая, а *история классов и классовой борьбы*, переданная не через смену формаций (к разработке этой идеи приступят в 30-е годы), но через снятие особенностей исторического процесса. Возглавил такую историю в качестве заместителя наркома просвещения Покровский. Искренний большевик и истинный антикадет (обилие статей против Милюкова с уничижительными определениями типа «линялая курица», «петушинный хвост», «гунявое воззвание»!), был убеждённым антигосударственником и интернационалистом (в противовес кадетской опоре на государство и национальное самосознание). Как верный страж революции, Покровский должен был поддерживать и ее схемы, тем более казавшиеся своевременными, что в университеты пошли абсолютно неграмотные студенты, спешно проходившие трёхгодичное обучение на рабфаках. Желание быстрее обучиться азбуке марксизма (снизу) и желание получить свои марксистские кадры (сверху) породило невероятный дилетантизм в науке. Теория прогресса усваивалась в форме слепых законов истории, признанных естественными законами, которые могли быть, как считалось, сформулированы физикой, химией, психологией или политэкономией. «Историк-марксист» писал, что «история развития общественных форм исследует этапы, общие всем народам, независимо от некоторых характерных отличий. В ходе исторического развития каждого из этих народов есть общие черты, отливающие развитие общественности у них в одни и те же совершенно схожие формы» [Историк-марксист 1927, Т. 6: 202], что делает необязательным изучение всемирной истории, — доста-

точно истории одной страны, и она будет представлять некую общественную идеализацию. Но такой примитивизм привёл к тому, что сам Покровский ополчился против схем, прекрасно понимая опасность любой из них. Возражая Л.П. Мамету, предлагавшему исключить из курса истории первобытно-общинный строй, он писал, что «человек исторически образованный» отличается «от человека исторически невежественного» тем, «что у первого есть некоторая сетка в голове», позволяющая «ему ориентироваться в этих границах». Первобытная история, хотя она и не есть история классовый борьбы, помогает понять, что «человек, выйдя из пещеры, не мог сесть на трамвай и поехать» и что любая схема — «марксистское обобщение», а не заменитель знания [Историк-марксист 1927, Т. 4: 196].

Однако и Покровский предлагает такой инвариант развития, который практически снимает историю как особый тип знания с неповторяющимися, необратимыми событиями. Он превращает историю в священную социалистическую историю со своими мифами и легендами, своего рода пародию на Священное писание. Термин же «русская история», на его взгляд, «есть контрреволюционный термин, одного издания с трёхцветным флагом и „единой, неделимой“ <...> История угнетённых народов не может не упоминать об истории народа-угнетателя, но отсюда заключать к их тождеству было бы величайшей бессмыслицей». Потому требовалось устранить рубрики «История Запада» или «История Востока».

Конечно, историки старой выучки пытались заполнить схемы конкретным материалом, трагически сталкивая «прежние» мысли о разных путях исторического развития с навязанным предписанием миру двигаться в строго заданном направлении. Многие прекрасные историки — С.Н. Валк, Б.А. Романов (его книга «Люди и нравы Древней Руси» до сих пор одна из лучших по истории древнерусской культуры), С.Н. Чернов, Н.М. Дружинин, С.Д. Сказкин — уходили в чистое источниковедение. Медиевист Гревс стал заниматься «историей города как очага культуры», организацией экскурсий.

И все же представление о том, что после 1917 г. в учебных заведениях только и делали, что грызли «гранит марксизма», неверно. А.Г. Авторханов сообщает в своих «Мемуарах», что, обучаясь в Институте Красной Профессуры, он не прочитал ни одной книги Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина: их полагалось знать до поступления в институт, зато читал историографические труды эмигрантов: «Очерки по истории русской культуры» Милюкова, «Очерки русской смуты» А.Н. Деникина. Книги «внутренних эмигрантов» Платонова, М.С. Грушевского, Любавского, Карсавина, Р.К. Виппера входили в список обязательной литературы.

Далее образцы истории менялись ещё, по крайней мере, четыре раза: *история классов и классовой борьбы* сменилась *историей производства и технологий*, та, в свою очередь, *великодержавной* историей. С 1929 г., когда Сталин был уже полновластным хозяином в стране, стало ясно, что сформулированный в свое время принцип приоритетности экономической истории с политической подоплёкой не выдержал проверки временем: социализм строился в одной стране, расчёт на «мировой пожар» не оправдался. Центр тяжести был перенесён сперва на технологию, затем на политику. С начала 30-х стала готовиться жульническая подмена бога мировой революции богом русской истории. После 1991 г. возникли *разнообразные учебники с разными взглядами на исторический процесс и разными толкованиями узловых событий истории*, но с началом 2010-х гг. снова возобладал *государственный интерес, требующий одного учебника со строго фиксированным пониманием генезиса событий*.

Новые установки диктовали новые легенды и новые мифы: вновь торжествовала идея власти. Место экономического детерминизма заняло место детерминизма государственного. Идея была прежняя, дореволюционная, но с новым содержанием, ибо государство было уже не самодержавным с ориентацией на связь с сословиями, а тоталитарным, затем авторитарным — с уничтоженной сословностью или с учётом квази-мнений. Но и тоталитарность, и авторитарность требовала подтверждения древними основаниями: нужно было иметь свою

историю, подразделённую на этапы, синхронные периодизации европейских стран. В 1930-е гг. стала интенсивно разрабатываться идея формаций и соответственно возникла «революция рабов», которую за ночь придумал историк древнего мира С.И. Ковалев [Копржива-Лурье 1987: 239]. В 1934 г. были открыты исторические факультеты. История новой государственности должна была быть окрашена в патриотические тона. Установка на «новый патриотизм» стала составной частью общего курса. Поводом для ее проведения в массовое сознание стал скомороший, пародийный, чуть ли не с палеховскими декорациями спектакль А.Я. Таирова по пьесе Демьяна Бедного «Богатыри». Газета «Правда» опубликовала разгромную статью по поводу этого спектакля, где указывалось на недопустимость неуважительного отношения к прошлому. С этого момента относительно дореволюционной России стала употребляться формула «наименьшего зла»: определение России как «тюрьмы народов» стало смягчаться. О присоединении окраин перестали говорить как о захватах. Вместо этого предлагались такие объяснения: то, что в состав России была включена Украина, лучше, чем если бы Украину захватила Польша; то же с Грузией: это лучше, чем резня. Монархический патриотизм стал отвечать задачам патриотизма социалистического. В этой ситуации антигосударственник и интернационалист Покровский перестал устраивать партократию. В 1939 г. все мало-мальски заметные историки заклеили его и его последователей как «ныне разоблаченных троцкистско-бухаринских наймитов фашизма» [Против исторической концепции М.Н. Покровского 1939: 3].

Единство истории было восстановлено насильственно и страшно при полном уничтожении всех начатых в канун XX в. гетерогенных историй. Когда в начале XXI в. начали говорить о скрепах истории, то соединяли себя то с реакционной второй половиной XIX в., то с 30-ми годами XX в. *пунктирными* скрепами, вытесняя остальные периоды. Это стало особенно заметно к концу XX – началу XXI вв., когда утвердились, по меньшей мере, две идеи: стагнации и консервации общества. При отсутствии общей идеологии (если всерьёз не считать православия) возник опять же симулякр идеологии, который С. Жижек охарактеризовал как участие человека в практиках, в смысл которых он не верит [Жижек 1999: 19–60].

Арендт Х. 2011. *О революции*. — М.

Арендт Х. 2000. *Vita activa, или О деятельной жизни*. — СПб.

Блок А.А. 1918. Интеллигенция и революция. — *Знамя труда*. 19 января (1 февраля). — Доступно: http://dugward.ru/library/blok/blok_int_i_rev.html. — Проверено: 12.12.2016.

Жижек С. 1999. *Возвышенный объект идеологии*. — М.

Зубов А.Б. 2006. Размышления над причинами революции в России. — *Новый мир*. — № 7. — Доступно: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/7/zu9.html. — Проверено: 16.12.2016

Историк-марксист. — 1926. — Т. 4–6.

Куренной В. 2008. *Концепт «революция» в современном политическом дискурсе*. — СПб.

Ключевский В.О. 1968. *Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории*. — М.

Копржива-Лурье Б.Я. 1987. *История одной жизни*. — Париж.

Ольденбург С.С. 1981. *25 лет перед революцией*. — Вашингтон.

Под знаменем марксизма. — 1922. — № 1.

Против исторической концепции М.Н. Покровского. 1939. — М.-Д.

Шильдер Н.К. 1904–1905. *Император Александр I*. — СПб.